

УДК 1(091)+ 165.9  
ББК 87.3(2)+ 87.25

**Симон Семенович Илизаров**

Институт истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, заведующий отделом историографии и источниковедения истории науки и техники, Россия, Москва, e-mail: sinsja@mail.ru

**Виктор Александрович Куприянов**

Санкт-Петербургский филиал Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова РАН, кандидат философских наук, старший научный сотрудник сектора социальных и когнитивных проблем науки, Россия, Санкт-Петербург, e-mail: nonignarus-artis@mail.ru

## **Очерки по истории русской философии 50-60 годов<sup>1</sup>** **Тимофей Иванович Райнов**

### **Части одиннадцатая и двенадцатая\***

*Подготовка к публикации С.С. Илизарова и В.А. Куприянова*

**Simon Semenovich Iizarov**

S.I.Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS, Advanced PhD (History), Professor, Chief Research Scientist, Head of the Department of historiography and Source study of the history of science and technology, Russia, Moscow, e-mail: sinsja@mail.ru

**Victor Aleksandrovich Kupriyanov**

St. Petersburg branch of S.I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology, RAS, PhD (Philosophy), Research Scientist of the sector of social and cognitive problems of science, Russia, St. Petersburg, e-mail: nonignarus-artis@mail.ru

## **The Outlines of the History of Russian philosophy of the 50-60s years**

**Timofey Ivanovich Rainoff**

### **Parts eleven and twelve**

*Prepared for publication by S.S. Iizarov and V.A. Kupriyanov*

---

<sup>1</sup> Публикация осуществлена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19-011-00366 и проект № 20-011-00071). (The reported study was funded by RFBR, project numbers № 19-011-00366 and № 20-011-00071).

\*Части первая и вторая опубликованы в: Соловьёвские исследования. 2020. Вып. 2(66). С. 59–68. Часть третья – Соловьёвские исследования. 2020. Вып. 3(67). С. 39–47. Части четвертая и пятая – Соловьёвские исследования. 2020. Вып. 4(68). С. 62–74. Части шестая и седьмая – Соловьёвские исследования. 2021. Вып. 1(69). С. 31–41. Часть восьмая – Соловьёвские исследования. 2021. Вып. 2(70). С. 20–36. Части девятая и десятая – Соловьёвские исследования. 2021. Вып. 3(71). С. 154–167.

**DOI:** 10.17588/2076-9210.2022.1.138-154

## 11. Индивидуализм

Социологический строй русской жизни исполнен парадоксов, – приходится повторять это. Одним из них является индивидуализм, окрашивающий собою многие ее проявления. Откуда бы у нас взялся индивидуализму? Индивидуализм предполагает более или менее развитую индивидуальность. А индивидуальность – как гласит один из достовернейших социологических законов, – вырастает и развивается только в среде с далеко проведенным общественным разделением труда. На основе такой дифференциации общество распадается на большое число «социальных кругов», объединенных – каждый в отдельности – специальною функцией, которую они выполняют. Эти круги по необходимости «скрещиваются», так как нередко одним и тем же лицам приходится участвовать в нескольких кругах. Например, в таком обществе адвокат может быть еще домовладельцем и членом какой-нибудь политической партии, он должен отбывать воинскую повинность и имеет право участвовать активно и пассивно в выборах, в парламент, и т.д. Каждой из этих своих функций он входит в соответствующую социальную группу или «круг», следовательно, эти круги в нем «скрещиваются». Такое скрещение не противоречит общественному разделению труда, так как в дифференцированном обществе скрещиваются лишь круги, не парализующие друг друга и не дробящие сил личности настолько, чтобы она не могла участвовать ни в одном из них интенсивным образом. Скрещение в одном лице профессии адвоката и педагога, публициста и ученого, журналиста и инженера и т.д. хотя и мыслимо, но не обладает «живучестью», так как соответствующие деятельности не могут выполняться средним человеком без вреда одна для другой: адвокату некогда быть педагогом, а педагог, прикрепленный к месту преподавания, лишен возможности того свободного продвижения, которого требует адвокатская профессия; а самое главное, адвокатский труд, по самому своему качеству, предъявляет к умственной деятельности человека такие требования, за удовлетворением которых у него уже не остается ни умственных, ни физических сил для удовлетворения еще и педагогическим требованиям, весьма отличным от адвокатских и предполагающим наличность у человека свежих сил, иногда очень значительных. В сильно дифференцированном обществе таких «скрещений» и не происходит: они характерны для обществ мало дифференцированных, в которых на одну и ту же личность ложится сразу бремя нескольких, подчас очень многочисленных и различных функций, друг другу мешающих, но не могущих быть разложенными на разных лиц отчасти по недостатку в людях, отчасти по отсутствию общественного спроса на людей и труд специализированный. Дифференциация общества разбивает его вообще на группы людей, друг на друга мало похожие, так как осо-

бые условия труда и существования в пределах каждой общественно-профессиональной группы создают и особые типы людей. Поэтому социальная дифференциация вообще ведет к выработке различий между членами общества, т.е. к их индивидуализации, и чем глубже эта дифференциация, тем сильнее индивидуализация. А сопровождающее глубокую дифференциацию «скрещивание общественных кругов» еще больше усиливает индивидуализацию. Один и то же человек оказывается под действием различных условий, отвечающих различным «кругам», скрещивающимся в нем, и, приспособляясь к этим условиям, он вырабатывает в себе черты и привычки, ему одному свойственные или, вернее, характерные для всех членов общества, живущих в тех же условиях. Но в дифференцированном обществе возможность того, чтобы много людей жили в одних и тех же условиях, мало вероятна. Чем больше в таком обществе специализированных функций, тем многочисленнее возможные между ними комбинации, а в таком случае население общества, распределившись в большом числе этих комбинаций, окажется разбитым на группы, тем более многочисленные и более разнородные, чем больше комбинаций. Следовательно, число «схожих» людей будет в нем уменьшаться, т.е. в нем будет соответственно сильнее рост индивидуализации. И, раз она растет, будут с нею расти и те привычки, взгляды и настроения, совокупность которых носит имя индивидуализма. Таким же образом индивидуализм обуславливается глубокою дифференциацией общества и сопровождающим ее скрещиванием социальных кругов. Но ведь это как раз та социологическая величина, которой всегда недоставало русскому обществу! Элементарный («сегментарный», по Дюркгейму) тип дифференциации всегда был особенностью нашего общественного бытия. А между тем нельзя не удивляться у нас обилию индивидуалистических течений всякого рода. Это и есть упомянутый социологический парадокс русской жизни.

Парадокс, конечно – кажимость, внешняя и обманчивая. Он объясняется тем, что есть индивидуализм и индивидуализм. Один – только что разъясненный, происходит от «избытка» социальной дифференциации. Другой, который мы сейчас рассмотрим, обусловлен, напротив, ее «недостатком», слабостью<sup>2</sup>.

При слабой дифференциации общества его члены несут на себе много социально-трудовых функций, которые, в более дифференцированных обществах распределяются между несколькими, особо их выполняющими, группами. Каждый удовлетворяет все свои потребности. Без сомнения, число и напряженность этих потребностей должно быть невелико, чтобы такое одиночное их удовлетворение могло казаться достаточным. Как бы то ни было, члены такого общества сравнительно мало связаны друг с другом: нужда их друг в друге невелика. У каждого есть то же, что и у другого. А где нет фактических,

---

<sup>2</sup> Такое дополнение господствующего взгляда на причины индивидуализма представляется нам необходимым не только в данном вопросе, но более подробное развитие нашей мысли завело бы нас слишком далеко: оно требует специального исследования.

реальных связей, там не может быть и связей идеальных, проникнутых сознанием и сопровождаемых ценою их с точки зрения должного и недолжного. Эта слабость социальных связей, следствие слабости общественной дифференциации, имеет своей оборотной стороной то, что члены общества привыкают жить в тесном кругу своих личных или узко-кружковых интересов, и в их поведении мотивирующую роль играют тогда не побуждения солидарности, общежительности, а побуждения, вытекающие из потребностей, интересов и взглядов обособленно-самодовлеющего существования. Так их жизнь приобретают ярко индивидуалистический характер. Но этот индивидуализм отличается от рассмотренного выше тем, что почвою для его развития служит как раз отсутствие или слабость индивидуальности, тогда как в индивидуализме, выше указанном, он вырастает именно из недр развитой индивидуальности. И действительно, при слабости общественной дифференциации, члены общества, несущие, каждый в отдельности, более или менее одинаковые функции, похожи друг на друга именно постольку, поскольку сходны эти их функции. Делая, в общем то же, что и всякий другой, один вырабатывает в себе, под влиянием этого «дела», те же черты и особенности, что и другой. В мало дифференцированном обществе индивидуализация, таким образом, низка, и несмотря на это, а отчасти и благодаря этому, в таком обществе сильны индивидуалистические стремления и привычки. В высоко дифференцированной среде, вырабатывающей личности, фактически индивидуализированные, – индивидуалистические потребности и стремления вытекают просто из того, что существуют индивидуализированные их носители. Эта потребность в стремлении состоит в обоих случаях в одном и том же, – в желании и возможности жить и поступать «по-своему». Но в слабо дифференцированном обществе жить и поступать по-своему – значит делать все, по возможности, независимо от другого, хотя бы совершенно так же, как делает этот другой. В более дифференцированной среде «жить по своему» – значит поступать по особому, согласно со своими вкусами, потребностями и желаниями, отличными от вкусов и желаний другого в той же мере, в какой этот другой и я – фактически различные индивидуальности: напротив, мотив «независимости» от другого здесь не играет столь существенной роли, как в первом случае: в сильно дифференцированном обществе члены его тем больше нуждаются друг в друге, чем различнее выполняемые ими функции, часто одинаково нужные для всех членов общества; эта взаимная нужда означает и взаимную связанность, зависимость, и потому, поступая невольно или вольно «по своему», здесь заботятся не о полной «независимости», в сущности невозможной, а о том, чтобы эту неизбежную зависимость согласовать со столь же неизбежною особенностью, индивидуализацией своей жизни. Поэтому-то обе эти разновидности индивидуализма относятся различно к такому важному элементу социальной эволюции, как рост солидарности между членами общества.

Индивидуализм, ценящий по преимуществу «независимость», чем дальше, тем больше оказывается в жестоком конфликте с растущей зависимо-

стью людей друг от друга, составляющей реальную основу солидарности. И с увлечением и углублением солидарности между людьми, индивидуализм этого типа должен все решительнее и решительнее идти на убыль. Не такова судьба индивидуализма, стремящегося сочетать особенность индивидуальной жизни с ее растущей зависимостью от условий дифференциации. Индивидуализм этого рода прекрасно согласуется с ростом солидарности. Он имеет будущее, и ему суждено усиливаться и углубляться в перспективах этого будущего. С полным правом мы могли бы назвать индивидуализм первого рода отмирающим и регрессивным, усвоив индивидуализму второго рода – имя грядущего и прогрессивного.

Представим себе теперь, что перед нами общество, типа переходного от элементарной дифференциации к дифференциации более глубокой и разносторонней. Предположим, что оно существует среди обществ, более дифференцированных, чем оно, и, сталкиваясь с ними, неизбежно терпит поражение, – следствие того, что его культура, как духовная, так и материальная, менее специализированная по всем направлениям, менее интенсивна, менее содержательна и богата, чем культура окружающих, более дифференцированных обществ. Под влиянием внутренних потрясений, вызванных этими столкновениями и поражениями, наше отсталое общество испытывает сильнейшую потребность во внутренних преобразованиях, и прежде всего, потребность в большей дифференциации. Но, по нашему предположению, оно и без того находилось в процессе перехода от менее глубокой к более проникающей дифференциации, и, благодаря вызванной «внешними» событиями катастрофы, этот процесс должен был теперь еще ускориться. Социальные связи и зависимости должны были вследствие этого умножиться и крепнуть. Но людская психология меняется гораздо медленнее, чем объективные и, в частности, социальные условия ее существования: ее развитие обычно более или менее отстает от главного течения социальной эволюции, так как влечит за собою бремя прошлого. Благодаря этому, люди с привычками и вкусами малоинтенсивной культуры незаметно и неожиданно для себя оказывались в обстановке, требовавшей большей дифференциации и интенсификации жизни. Возникал конфликт между традициями их архаического индивидуализма со свойственной ему жаждой «самодовления», «независимости» и – изменявшимися условиями социального строя, как мы видели, враждебными этого рода индивидуализму. На первых порах этот конфликт мог только усилить архаически-индивидуалистические потребности, хотя, с течением времени, теряя под собою реальную почву, эти потребности должны были неизбежно, пусть и относительно медленно, выходить из преобладающего духовного обихода нашего гипотетического общества.

Это общество представляет социологическую «модель» русского общества около середины XIX-го века и ближайших затем десятилетий. Слабо дифференцированное, оно, однако, уже начинало страдать от этого, и архаический тип русской жизни с ее подразделением на недифференцированные, внутренне

замкнутые и от всего внешнего независимые социальные ячейки, дворянские, купеческие и крестьянские «гнезда», уже пошатнулся, стал медленно перестраиваться и меняться вследствие растущей примеси более дифференцированных форм культуры. А тут подоспела Крымская война, воочию обнаружившая нашу колоссальную общественную отсталость от современных европейских форм социальной жизни и давшая сильнейший толчок нашей «европеизации» в смысле более ускоренного усвоения тех же форм. «Порвалась цепь великая» крепостного права, одного из устоев нашего отсталого общественного бытия, и, «ударив одним концом по барину, другим по мужику», на манер центробежной машины, разделила эти архаические группы на ряд новых общественных слоев по их удельному трудовому весу: началась дифференциация дворянства и крестьянства, расслоение их на большее, чем прежде, число групп, связанных притом друг с другом многообразнее и глубже, чем в эпоху крепостного режима. Личность, вовлеченная в этот процесс коренного перераспределения общественных сил и функций, начинала испытывать все растущие стеснения в своем самоощущении «независимой» и «самодовлеющей» единицы. Все чаще и больше она чувствовала себя в положении «пальца от ноги», зависимого винтика колоссального механизма, работающего по своим «объективным» законам и не желающего знать ничего о претензиях архаической «цельной» и «всесторонней» личности. Вот когда последовал взрыв индивидуалистических чувств и вкусов старого, отмирающего типа, чувств и вкусов «независимой» личности, желавшей жить, как ей угодно, на манер того героя русской пословицы, который был сам «и чтец, и швец, и на дуде игрец», – жить так «в век пара и электричества», в эпоху головокружительной специализации, дифференциации и интенсификации, всех форм и областей культуры. Проявления этого архаического индивидуализма, имя же им легион, особенно заметны в русской жизни 70–80-х годов, но не мало их было и в 50–60-х.

Две главные реформы 50–60-х годов, крестьянская и судебная, носят на себе печать яркого индивидуализма, если не исключительно архаического, то и не вполне «прогрессивного». Крестьянская реформа, в том виде, как она фактически совершилась, явилась результатом борьбы и взаимодействия различных общественных сил и мотивов, и хотя одни из тогдашних групп повинны в ней, в ее конкретном содержании, более других, все они приложили свою руку к ее осуществлению, все выразили в ней хотя бы частицу своих преобладающих страстей и интересов. В результате, последовало «освобождение» крестьян в таком виде, что единственной ценностью реформы оказался голый факт «освобождения», приобретения крестьянином блага личной свободы. Мало кто в русском обществе того времени не чувствовал необходимости наделения крестьян этим благом, и вместе с тем, это благо представляло собою тот минимум, который, по общему мнению, должна была осуществить реформа. Но что означала эта «свобода»? Прежде всего, независимость, предоставление каждому права и возможности устраивать свою жизнь

по произволу. И хотя многие хорошо понимали, что эта независимость сама по себе, без достаточного хозяйственного базиса, окажется, по всей вероятности, фиктивной, в ней все-таки видели нечто ценное и фактически проведенная реформа осуществила именно эту индивидуалистическую ценность с преобладающим в ней мотивом независимости. Тот же мотив сообщился и судебной реформе 60-х гг. Как известно, она заключалась в переустройстве судопроизводственного аппарата и в частичном видоизменении уголовного законодательства. Частногражданские отношения были затронуты ею в малой степени: «законы гражданские» остались, в общем, те же, что и до реформы, если не считать специально-крестьянских отношений, выделенных отчасти, как особая область гражданских правоотношений и регламентированных в соответствии с традициями крестьянского правосознания, как они сложились в прошлом. Нельзя сказать, чтобы тогда не ощущалось надобности в реформе гражданского законодательства; но эта надобность была, очевидно, не очень настоятельна, если и тогда, и по сие время для ее удовлетворения ограничивались, главным образом, усилением деятельности Сената по части «разъяснений» да изданием, время от времени, разных частных «новелл», изменявших или заменявших частности нашего архаического гражданского кодекса. Не то с судопроизводственной и уголовной реформой. Правосознание людей 50–60-х гг. не мирилось с тогдашним состоянием этих областей законодательства. Если мы спросим, что именно в особенности возбуждало их недовольство нашим дореформенным судом и уголовными законами, то всякий, знакомый с эпохой, не задумываясь, ответит, что предметом наибольшего недовольства и даже негодования была крайняя необеспеченность личности и ее безопасности – как перед судом, так и в жизни. Суд не считался с интересами подсудимого, не вникал в его интимные мотивы и побуждения, не видел в нем чего-то, имеющего известные права, и третировал его, как бездушную вещь. Уголовное уложение, с его ядром времен царя Алексея Михайловича, назначало наказания, не считаясь с индивидуальностью виновного, не разбираясь в оттенках его поведения и стремясь подвести последнее под строго определенное число рубрик, негибких, отставших от жизни и неспособных ни в момент своего возникновения, ни, тем более, позже, охватить конкретного многообразия жизненной обстановки и мотивов «преступного» действия. В свою очередь, в самой жизни накопилось столько «черной неправды», непредусмотренной или плохо предусмотренной законом, что личная свобода и безопасность сплошь и рядом попирались в ней при совершенном безучастии закона. Стоит вспомнить только отношения между должником и кредитором при неоплатности первого, карательные «права семейные», отдававшие судьбы и даже самую жизнь жены и детей в почти бесконтрольное распоряжение мужа и отца, и тому подобные «законные» пережитки старины, не отвечавшие уже уровню современного правосознания, чтобы понять, какую страстную потребность в обеспечении личной свободы должны были испытывать

люди того времени, оглядываясь на окружающую жизнь. Ответом на эту потребность и явилась реформа судоустройства и судопроизводства (особенно уголовного, так как гражданское подвергалось меньшим изменениям и кроме того было обессилено предписанием блюсти новыми способами устаревшие гражданские законы). Первая статья Устава Уголовного Судопроизводства, какую она вышла первоначально из рук своих творцов, и гласила прежде всего, что никто не может быть лишен свободы иначе, как по судебному приговору, вынесенному на строгом основании закона. А затем, последующие страницы Устава и дополняющего его Учреждения Судебных Установлений посвящены подробнейшему и тщательному регулированию прав и обязанностей подсудимого и судебных властей, с явным стремлением обеспечить всем участникам судебного разбирательства максимум независимости и возможности защититься или отправлять свои судебные обязанности не только по точной букве закона, но и со всею свободой личного разума и совести. – Во всем этом много индивидуализма самого прогрессивного типа. Стремление согласовать права личности с интересами социального целого представляет нечто «живое» и жизнеспособное. Но то особо, нарочитое ударение на моменте личной независимости, которое заметно и в крестьянской, и в судебной реформах, является уже отзвуком индивидуализма архаического, с его высокой оценкою блага «самодовления» и возможности поступать по своей воле, хотя бы и по общему образцу.

С необыкновенною яркостью выразился этот индивидуализм в знаменитом романе Достоевского «Преступление и наказание», относящемся к 60-м годам. В лице Раскольникова изображен Достоевским тип крайнего архаического индивидуалиста, в сознании которого господствующую роль играют потребности и мотивы своеволия, готового попать всякие препоны для исполнения, задуманного и желанного. А в заключительных главах романа мастерски показано, как этот замечательный индивидуалист нехотя, но с необходимостью пасует перед фактом социальной солидарности, явившейся ему виде судебной власти, а особенно – как голос собственной карающей совести. Таких крайних индивидуалистов реальная среда наших 50–60-х гг. не создала, или, может быть, яд этого индивидуализма парализовался в ней противоядиями солидарности. Однако, вследствие слабости дифференциации тогдашнего русского общества, этих ядов вырабатывалось в нем еще слишком недостаточно, чтобы индивидуальное самочувствие людей того времени прониклось социальными мотивами, и чтобы последние сделались преобладающими, отправными пунктами в их мышлении.

Интересуясь всего больше «человеком» в его внешнем бытии, в том числе и общественном и ставя этого человека в центре своего мировоззрения, люди 50–60-х гг. как-то плохо и слабо чувствовали и воспринимали его общественную сущность.



Во всяком случае, думая о человеке, они исходили не из его социальной природы, а из его качества неделимой, самостоятельной и обязательно «цельной», разносторонней особи. Общественность они присоединяли к этой особи, как присоединяется проявление к сущности, не исчерпывающейся одним этим проявлением и даже не выражающейся в нем наиболее полным образом. Отсюда склонность мыслителей 50–60 гг. к естественно-научному пониманию человека. Ведь в естествознании – только особь, неделимая единица, последнее целое, к которому, как его части, органы и проявления, возводятся вне частности человеческого существования. Только социология поднимает наш взгляд выше этого атомизма и приучает рассматривать человека, как социальный узел, большинство свойств которого определяется строением его общественной среды, хотя и вырастает на биологически-единой основе неделимого организма. Людям 50–60-х гг. эта точка зрения была еще чужда, и даже позже, в 70–80-х гг. русские люди, уже усвоившие ее теоретически от О. Конта, не могли проникнуться ею настолько, чтобы сделать ее своим привычным исходным пунктом: в самой русской жизни «социальная», т.е. прежде всего «солидарная» стихия была еще слишком слаба, чтобы навязываться их сознанию с принудительной силой, и напротив была еще сильны условия для развития архаического индивидуализма, всего больше ценящего независимую личность и, как условие ее самодовления – широту, разносторонность ее проявлений. Таким-то образом «человек», стоящий в центре мировоззрения людей 50–60 гг., оказывается на деле именно человеческою личностью разностороннего типа, а само их мировоззрение – в большей или меньшей степени – индивидуалистическим.

«Принципом философского воззрения на человеческую жизнь со всеми ее феноменами, говорит, например, Чернышевский, служит выработанная естественными науками идея о единстве человеческого организма...». В этом организме, «философия видит... то, что видят медицина, физиология, химия...»<sup>3</sup>. Таким образом, «человек» Чернышевского – понятие исключительно естественно-научное, следовательно – индивидуалистическое. Вкусами, потребностями и стремлениями личного человека и определяются у него детали той картины мира, которую он считает истинной, и того образа действия, который он признает должным. В том же роде взгляды Антоновича: его наука о человеке, от которой должна отпираться всякая философия, «должна быть частью естествоведения». Само собою разумеется, что свои знания этот центральный человек приобретает и развивает не иначе, как «по требованию своей натуры», неделимой, индивидуалистически понятой в духе «естествоведения»<sup>4</sup>. Человек, стоящий в центре философии Страхова, точно также извлечен из естествознания, а именно и в особенности из данных сравнительной анатомии и физиологии, из которых исходит

<sup>3</sup> Чернышевский Н.Г. Антропологический принцип в философии // Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений: в 10 т. Т. VI. СПб.: Типография и Литография В.А. Тиханова, 1906. С. 194.

<sup>4</sup> Антонович М.А. Два типа современных философов // Современник. 1861. Т. LXXXVI. Отд. 2. С. 416–17.

Страхов в своем анализе человеческой природы: следовательно, это – тоже индивидуалистическое понятие. Страхов так сжился с ним, что даже могущественное анти-индивидуалистическое влияние Гегеля, которое он пережил в 50–60-х гг., не могло истребить в нем индивидуалистических привычек. Несмотря на это влияние, Страхов не проникся ценностью всеобщего, в котором тонет и растворяется все индивидуальное; напротив, он живо чувствовал ценность единичного человека и говорил, что в мире «одно живое существо (значит) больше, чем целое небо мертвых звезд»<sup>5</sup>. Особенно силен индивидуалистический мотив в философии Лаврова. Он уже ставит вопрос об отношении личности к обществу, но разрешает его очень просто – отрицанием реальности общества: оно – только «абстракт», а «в своем реальном содержании распадается на личности», единственно – реальные сущности<sup>6</sup>. Как такая сущность, личность является «догматическим принципом», «центром философской системы»<sup>7</sup> именно антропологизма, как называет Лавров свою философию. «Антропологическая точка зрения в философии, говорит он, отличается от прочих философских точек зрения тем, что в основании построения системы ставит цельную человеческую личность, или физико-психическую особь, как неоспоримую данную»<sup>8</sup>. Эмпирист Троицкий, повторяя старых и новых английских эмпиристов, делает источником всех наших познаний наши личные ощущения, и весь мир представляет у него только объектирование, проекцию этих ощущений. Его наивный и грубый индивидуализм выставляется с особенною уверенностью на тех страницах его книги о немецкой психологии, где он излагает и презрительно критикует анти-индивидуалистическое учение Фихте, Шеллинга и Гегеля о всеобщем сознании. Троицкий настолько чужд этому учению, что просто не в силах понять его, и потому в его критических замечаниях по этому поводу встречается больше бранных выражений, чем обычно, хотя он вообще не стесняющийся писатель. – В высшей степени любопытно сказывается индивидуализм в воззрениях Потебни. Хорошо знакомый с немецкой социальной психологией, основанной трудами Лацаруса, Штейнтала и других, он не решается становиться на исключительно индивидуально-психологическую точку зрения в своих исследованиях об отношении слова к мысли. В развитии языка, по его мнению, есть две стороны: индивидуально-психологическая и социально-психологическая. Но себе лично он отводит только вопрос «о значении слова в развитии неделимого», т.е. индивидуально-психологическую проблему<sup>9</sup>. Обсуждая в другом случае вопрос о том, как

---

<sup>5</sup> Страхов Н.И. Мир, как целое. СПб.: Тип. К. Замысловского, 1872. С. 259.

<sup>6</sup> Лавров П.Л. Исторические письма. СПб.: Тип-фия Клобукова, 1905. С. 130 (Ссылка исправлена. – Прим. ред.).

<sup>7</sup> Лавров П.Л. Задачи позитивизма и их решение: теоретики сороковых годов в науке и верованиях. СПб.: Ред. «Рус. Богатство», 1906. С. 63.

<sup>8</sup> Лавров П.Л. Антропологическая точка зрения // Энциклопедический словарь, составленный русскими учёными и литераторами / под ред. А. Краевского. Т. V. СПб.: Тип. И.И. Глазунова и К°, 1862. С. 6–7 (Ссылка исправлена. – Прим. ред.).

<sup>9</sup> Потебня А.А. Мысль и язык. Харьков: Тип-фия «Мирный труд», 1913. С. 39.

возможно взаимное понимание между людьми, если каждый вырабатывает свои слова и мысли на свой риск и счет, Потебня приводит для объяснения общения гипотезу В. Гумбольдта, по которой в основе взаимного понимания, лежит единство человеческой природы. Заметив, что Гумбольдт не определил род этого единства, Потебня, однако, не вдается сам в исследование этого вопроса и, покинув его, переходит к другому: как может человек познавать мир, если мир находится вне его сознания? Изложив и по этому поводу гипотезу Гумбольда о «первоначальном согласии человека с миром», Потебня опять не углубляется в ее оценку и, найдя, что дело переходит уже в «метафизику», уклоняется от решения вопроса, поставленного Гумбольдтом и неизбежного во всякой теории «мысли и языка»<sup>10</sup>. Таким образом, во всех случаях, где Потебне представлялась возможность преодолеть индивидуализм, он либо обходит вопрос молчанием, либо уклоняется от ответа на него, либо отстраняет от себя самый вопрос. И только в области привычного для него индивидуально-психологического исследования он чувствует себя хорошо и говорит много и умно.

Мы рассмотрели ряд представителей младшего философского поколения 50–60-х годов, во взглядах которых индивидуализм сказывается особенно ясно. Но не чужды ему и представители старшего поколения – философствующие отцы. Развитию индивидуалистических тенденций препятствовала у них церковно-православная окраска их мышления, враждебная идее совершенно автономной личности. Впрочем, некоторых из них это препятствие останавливало очень мало. Даже робкий Карпов находил, что предметом высшего познания, или «идеального созерцания» являются идеи, начала, не только всеобщие по своему значению, но и индивидуальные по своему содержанию, так что каждая идея обнимает совокупность свойств вещи, постоянно и неизменно в ней заключающихся»<sup>11</sup>: таким образом, по Карпову, главная часть реальности имеет характер индивидуализированных сущностей. Яснее выражается то же убеждение у Юркевича, который полагает в основе мира царство идей, а под идеей понимает «разумную и единичную сущность»<sup>12</sup>, т. е. существо индивидуальное. Еще определеннее индивидуализм в мировоззрении славянофилов. Мы уже видели, что критерием всякой истины они делают потребности разносторонней и гармонически-развитой личности. Эту личность, взятую как метафизическая сущность, они полагают затем и в основу всего реального: «существенного в мире есть только разумно-свободная личность. Она одна имеет самобытное значение. Все остальное имеет значение только относительное», – так писал

<sup>10</sup> Потебня А.А. Мысль и язык. С. 32–35.

<sup>11</sup> Карпов В.Н. Систематическое изложение логики. СПб.: Типография Якова Трея, 1856. С. 23 и след. (Цитата не обнаружена. Возможно, пересказ стр. 23–25. – Прим. ред.).

<sup>12</sup> Юркевич П.Д. Идея // Журнал министерства народного просвещения. 1859. Ч. CIV. Отд. II. С.2. Отд. Оттиск. С. 72. (Указание страницы восстановлено. – Прим. ред.).

Киреевский в своих «Отрывках»<sup>13</sup>, часто более искренних, чем систематическое изложение его взглядов в статье о «новых началах для философии». Между прочим, на примере славянофилов мы можем особенно хорошо видеть, как силен был индивидуалистический дух эпохи, несмотря на мешавшие ему у славянофилов православные догматы и склонности. Издавна мысль славянофилов складывалась таким образом, чтобы оправдать и осмыслить эти догматы и склонности. Они отлично понимали, что дух независимого индивидуализма плохо мирится с господством авторитета и традиции, характерным для православного мышления, и потому не раз обрушивались с самою беспощадную критикою на протестантизм, предоставивший личности быть последним судьей и вершителем также и в религиозной жизни: отсюда могли возникнуть и возникали еретические нарушения общеобязательных догматов, освященных авторитетом и преданием, а этого «православное сознание» славянофилов не выносило. Поэтому они придумали, в противовес этому, учение о решающей роли в религии – не индивидуального, а «соборного сознания», стараясь выразить в этом учении философским образом теорию и практику вселенских соборов, почитавших себя, по религиозным и организационным соображениям, источниками и судьями религиозной, а с нею и сущности, и всякой истины. Главным теоретиком этого антииндивидуалистического учения был Самарин, развивший его еще в 40-х гг., но склонность к нему обнаруживали также К. Аксаков, Хомяков и Киреевский. Последние, впрочем, склонялись к нему и под влиянием учения Гегеля, а позже – Шеллинга об абсолютном сознании. Как бы то ни было, понятие «соборного сознания» решительно противоречило у славянофилов всяким индивидуалистическим поползновениям. И тем не менее, наиболее чуткие из них к веяниям времени, Киреевский и Хомяков, не могли удержаться от этих поползновений, возникших, например, у Киреевского, еще до эпохи, которую мы изучаем. А канун освобождения, до которого они дожили, и совсем развязал им языки в этом запретном, почти еретическом отношении.

## 12. Заключение

Мы разобрали содержание философской мысли 50–60-х годов аналитически, разложив его на ряд отдельных моментов и рассмотрев каждый в отдельности. Но, конечно, в сознании мыслителей того времени эти «моменты» стояли не разрозненно, а во взаимной связи. Какой, – это вопрос нелегкий, особенно с точки зрения, занимаемой нами в этих очерках. Мы интересуемся философскими течениями, общими всем или большинству мыслителей 50–60-х гг. и представляющими отражения общественной физиономии эпохи: более специального интереса они, за немногими исключениями, не стоят, вследствие

---

<sup>13</sup> Киреевский И.В. Отрывки // Киреевский И.В. Полное собрание сочинений в 2 т. Т. 1. 1911. С. 274.

своей неоригинальности. С нашей обобщающей точки зрения все частности индивидуального мышления важны только как примеры общих положений, которыми мы характеризуем эпоху. А между тем, сочетание различных философских мотивов, отмеченных нами выше, происходит как раз в области индивидуального мышления, и если склад последнего в значительной степени определяется преобладающими общественными условиями времени, то это не единственный фактор: нужно считаться еще с личной психологией каждого мыслителя в отдельности, так как и общественные условия сочетаются в каждом из них тем или другим индивидуальным манером. И лишь приняв во внимание и эту индивидуально-психологическую сторону дела, могли бы судить с уверенностью о том, как сочетались в сознании мыслителей 50–60-х гг. отдельные черты их мировоззрений, отмеченные нами. Не проделав здесь этой индивидуально-психологической работы и не имея возможности опереться в этом отношении на чью-либо чужую работу, мы вынуждены судить об интересующем нас вопросе с социально-психологической точки зрения, положенной в основу наших очерков. Этого, конечно, недостаточно, и наши заключения о том, как связывались в сознании людей 50–60-х гг. отдельные стороны их мировоззрения, будут носить, по необходимости, только предположительный и приблизительный характер.

Впрочем, надо полагать, мы останемся не очень далеки от действительного положения дела. Мы находимся в области идей, а идеи обладают способностью сочетаться друг с другом не только в зависимости от психологии их носителей, но и в соответствии со своим содержанием: зная его, можно отдать себе приблизительный отчет в том, как и почему известные мысли смыкаются в некоторое логичное целое. А общепсихологические черты эпохи могут объяснить нам, до известной степени, и нелогичности этого целого.

Внимательный читатель мог бы заметить уже в предшествующем изложении преобладающих идей 50–60-х годов некоторый определенный порядок. Мы начали с характеристики реалистических потребностей людей того времени, а в заключении этой характеристики заметили, что для того, чтобы облечь и разукрасить реальную действительность красками идеального совершенства, мыслители 50–60-х годов должны были носить в груди большой запас идеализма, – и собственного, благоприобретенного, и наследственного, полученного преемственным путем от «отцов».

Таким образом уже «реализм» философии 50–60-х гг. заставляет нас предполагать в людях того времени известные идеалистические склонности, существование которых, как мы видели, вполне и подтверждается анализом. Но всякий идеализм является, в сущности философией ценностей, а ценности, хотя бы и абсолютные, имеют субъективно-человеческий аспект; иные же из них имеют исключительно человеческое значение. Уже из одного этого мы вправе были бы заключить, что в философии 50–60-х гг. большую или меньшую роль играет «человек». Исследование показало нам, что на деле эта роль

была очень значительна, и философия того времени носила решительно «антропологический» характер. Но «человек», стоящий в центре философии 50–60-х гг., может быть понят различно: либо в своих интимных переживаниях, либо в условиях «внешнего» существования, а в последних случаях можно интересоваться им либо, как индивидуальностью, либо как функцией общественности.

Мы видели, что, по условиям эпохи, мыслители 50–60-х годов были именно индивидуалистами в своем культе человека. Таким же образом реализм, идеализм, антропологизм и индивидуализм соединяются в мышлении людей интересующей нас эпохи в более или менее логичном целом. Впрочем, логичность его далеко не безукоризненна. Последовательный реализм ставит в центре всего проблему сущего, а должное и недолжное, т.е. ценность в положительном или отрицательном смысле он растворяет в явлениях сущего. Даже самой проблемы ценности не возникает при последовательном проведении реализма, так как она, эта проблема, предполагает, что должное, ценное есть особая «категория», независимая от категории сущего. Если мыслители 50–60-х гг. не выдерживали до конца реалистической точки зрения и охотно дополняли ее, сознательно и бессознательно, идеалистическими примесями, это объясняется соответствующим характером «духа времени», обращавшего интересы людей к реальному, но внушавшему им мысль, что это реальное представляет собою и нечто ценное. Так совершался в сознании людей 50–60-х гг. логически небезукоризненный синтез реализма и идеализма. Если идеализм далее, приводил их к большей или меньшей заинтересованности «человеком», то именно «большая» мера этого их интереса, не вытекающая с логической неизбежностью из идеалистических посылок, обуславливалась опять характером эпохи с ее озабоченностью делами человеческими. Наконец, индивидуализм, примиримый с антропологизмом, как одна из его разновидностей, тоже не вытекал из антропологизма с необходимостью, потому что для выбора именно этой его разновидности, а не других, люди 50–60-х годов должны были иметь особые основания, которые и были подсказаны им индивидуалистическими веяниями времени.

Такою представляется нам связь отдельных сторон мировоззрения людей 50–60-х гг. Мы осветили ее, начав с реализма и кончив индивидуализмом, через идеализм и антропологизм. Но, оставаясь по существу тою же, она может рассматриваться и в обратном порядке. От индивидуализма, через антропологизм и идеализм, можно прийти к известной форме реализма. В самом деле, индивидуалистические склонности эпохи само собою ставили в центре философии «человека». В свою очередь, «человек» этот предопределял интерес к проблеме ценности: отсюда идеалистическая сторона в мировоззрении людей 50–60-х гг. Но так как, с другой стороны, их интересовали не ценности сами по себе, а их реальное воплощение в действительности, то мыслители этого времени ощущали и значительную реалистическую потребность. Повторяем, существо связи между главными моментами философии 50–60-х годов не меня-

ется от такого обращения их порядка. Но нам нужно было установить его обратимость – с тем, чтобы поставить вопрос, в каком именно порядке вырабатывали основные пункты своего мировоззрения мыслители 50–60-х годов: шли ли они от реализма к индивидуализму, или наоборот? Вопрос – не праздный, так как ответ на него ввел бы нас до некоторой степени в душу людей того времени, а это – одна из главных задач историка. Внутренняя связь идей сама по себе безлична и для истории безразлична. Историка важно знать не о том, как читается и доказывается такая-то теорема, а на каком конкретном пути люди определенного времени пришли к ее открытию. Так и нам существенно было бы выяснить, из чего, в последнем счете, исходили мыслители 50–60-х годов, описывая в своем мировоззрении ту кривую от реализма к индивидуализму, которую они могли пройти, по крайней мере, двумя указанными способами, но которую каждый прошел, вероятно, лишь одним из них. Опять при решении этого вопроса нас затрудняет наша типизирующая, социально-психологическая точка зрения. Ведь интересующую нас «кривую» мыслитель мог начинать и доводить до конца своим особым образом, подчиняясь своим индивидуальным склонностям, а мы хотим осветить вопрос в предположении, что здесь существовал один преимущественно отправной пункт, из которого одинаково исходили все они или их большинство: вероятно ли это предположение? Нам кажется, – да: когда люди обнаруживают такое поразительное единообразие в существенных своих взглядах, как то находим у мыслителей 50–60-х годов, то предположение, что каждый из них, выйдя из своего особого угла зрения, пришел к тому же, в общем, результату, что и все другие, имеет за себя очень мало шансов: напротив, чем различнее исходные точки, тем вероятнее, что такое же, если не большее различие скажется в окончательных итогах, и говорить тогда об единообразии этих итогов, хотя в главных пунктах, было бы бессмыслицей. Всего легче такое единообразие может быть объяснено предположением об общности исходных точек у большинства мыслителей 50–60-х годов. Ввиду этого небезынтересно спросить, из чего же они исходили, что в их мышлении играло роль психологически-доминирующей пружины, действием которой объясняется направление их мышления в целом, – были ли этой пружиною реализм или индивидуализм?

Мы решаем этот вопрос в пользу индивидуализма. В конце концов, мыслители 50–60-х годов всего больше интересовались «цельною человеческою личностью». Их реализм вытекал из потребности этой личности в реальном воплощении ее затаенных стремлений и идеалов: в этом мы убедились в главе о реализме 60-х годов. Из этого же источника вытекала также степень их реализма: не реальность сама по себе привлекала их, а реализация стремлений личности в реальной обстановке. Если реализм в философии 50–60-х годов был, таким образом, результатом проникавших ее индивидуалистических стремлений, то уже нетрудно, как мы видели, проследить путь, каким шли люди того времени от индивидуализма к реализму: личность, интересовавшая их,

была человеческая личность: отсюда антропологизм; в этой человеческой личности их влекло к себе именно осуществление ее ценностей: вот внутренний источник их идеализма.

Достигнув этого результата, мы можем пролить некоторый свет на вопрос о том, почему с психологией мышления 50–60-х гг., обрисованной нами в первой половине этих очерков, сочетались именно те философские взгляды, которые мы охарактеризовали во второй части очерков. Само это сочетание – факт: одни и те же люди проявляли в психологии своего мышления гетерономию и догматизм, склонность мыслить «по поводу» и большую подверженность западным влияниям, экстенсивность мышления и его малую интенсивность, а в содержании своего мышления – индивидуализма с тесно связанными с ним антропологизмом, идеализмом и реализмом. Факт этот не из «самоочевидных». Вообще говоря, между психологией и содержанием мышления нет простого и очевидного отношения. Возможности тут самые разнообразные, и действительность осуществляет в разных случаях самые различные возможности. В нашем случае, который никоим образом нельзя обобщать, связь между психологией и содержанием философского мышления обнаруживается и объясняется, по-видимому, очень просто и изящно.

Характеризуя психологию мышления философов 50–60-х годов, мы старались всюду провести ту мысль, что все черты этой психологии объясняются социологическим типом русского мыслителя этого времени. Слишком разносторонний деятель, выполнявший одновременно несколько различных общественно-трудовых функций, взаимно друг друга парализовавших, он нес в самом себе, в этой разносторонности своих проявлений, коренную причину всех своих психологических особенностей. Отсюда вытекали «гетерономия», и догматизм его мышления, и привычка философствовать «по поводу», и неоригинальность по сравнению с западными образцами, и экстенсивность замыслов, и неинтенсивность выполнения. В свою очередь, социологический тип русского мыслителя 50–60-х гг. был следствием элементарной дифференциации русского общества, в котором слабое общественное разделение труда вызывало к существованию тип разностороннего деятеля – дилетанта, тип «цельной личности».

Разбираясь затем в причинах индивидуализма, характерного для содержания философии 50–60-х годов и бывшего, как мы только что убедились, отправную точку для остальных главных особенностей этого содержания, мы нашли в свое время, что этот индивидуализм, с его высокой оценкой широты и независимости личности, может быть объяснен недостаточностью, слабостью дифференциации русского общества 50–60-х годов, и что его необходимо строго отличать от индивидуализма другого рода, вырастающего на чуждой тогдашней русской жизни почве глубокой социальной дифференциации.

Таким образом, оказывается, что как социологический тип личности, из которого вытекали все особенности психологии мышления людей 50–60-х го-



дов, так и философский индивидуализм содержания их мышления, определявший собою и другие существенные черты этого содержания, – возводятся, в конечном счете, к одной и той же основной причине: к элементарному типу русской социальной дифференциации 50–60-х годов.

Если, повторим еще раз, этого случая не следует обобщать, то, с другой стороны, ему не следует и удивляться. Манера и содержание мысли оказывается в значительной зависимости от социальных условий соответствующей среды: что же в этом удивительного? Человек существует и умирает, а в промежутке трудится, как существо социальное, и если характер его деятельности и содержание результатов этой деятельности отражают социальную природу человека, то это только естественно, хотя, на иной взгляд, может быть, и грустно.

Т. Райнов